

# ЗАМАНИХА

Я

Ягода садовая ли, лесная – лакомство знатное. А уж луговая клубника, у нас её кличут «заманиха», – и вовсе наипервейшая статья, и сказ о ней особый.

Как только вступает в последнюю пору земляника, когда даже в боровых глущинах смолкает бабье да девичье ауканье, сама собой хлопотная заготовочная пора перекатывается с подолов уроцищ на покосные луговины, заброшенные, поросшие самосевным подлеском, поля, на обрызганные колокольчиковой просинью, истомлённые до изнеможения летним зноем склоны угорьев.

Каждый раз, прознав, что соседки давным-давно «обтаскались» заманихи, мачтушка всплёскивала руками: мол, ах ты, горюшко луковое, опять проморгали первый, самый густой, обор.

Срочным порядком по вверенному ей хозяйству объявлялся переполох. Правду говорю, жизненная история. Переносились на другое время любые намеченные ранее

дела. Сыскивался всяческий, подходящий для ягодного сбора посуд: от бидонов и вёдер до кузовков и лукошек.

Горячей охотницей до заманихи слыла когда-то ещё бабушка Наталья, отцова мать. Она-то и пристрастила меня к этой деревенской забаве. Именно забаве, потому что сбор ягод, хоть и был он во все времена нелёгок – и спина-то потом аж два дня ноет, и руки-ноги ломят, – но всё равно делом занятие это никогда не считалось, скорее, прогулкой, отдыхом «на гулянках» от серьёзных каждодневных крестьянских забот. Но, как бы там ни было, следует сказать, пору эту всегда поджидали с нетерпением, «ягодное» удовольствие никогда не наскучивало.

Из года в год в конце июня, начале июля, ранней ранью, с восходом солнца, всем семейством снаряжались мы на целый день в Плоский лесок, в котором в самой серёдке, за расступившимися берёзовыми зарослями, открывалась продолговатая, версты на

две-три, лощина, поросшая чабрецом да диким ягодником.

Жалобясь на «разбитые» ноги, постаревшая бабушка с нескрываемым сожалением и горькой завистью, соступив кое-как с крыльца, выпроваживала нас за калитку. И, опершись на загородку, не скучилась, как человек бывалый, на всяческие наставления и советы, «отказывала» нам свои потаённые места. Мол, нынче, по всему видать, заманиха объявитяся ядрёней да спорёй по луговинам. Какой день жарень стоит несусветная, значит, и ягодка на пригорках никудышная: мелкота мелкотой, да и, скорее всего, испеклась. «Ну, вернуться вам с добрым добытком», – крестила нас старушка восьмёрка. И мы, оставляя на лопушистых подорожниках росную стёжку, устремлялись вверх вдоль Мишкиной горы, а затем и вовсе скрывались из виду, тонули в недозрелых иссиня-сизых ржах игинского поля.

Даже когда клубники уродятся «горы насыпные», сбор её, особенно если тебе лет семь-восемь, где-нибудь часа через двадцать начинает надоедать. Тут на выручку приходит бабулина предусмотрительность – самое время развязать собранный ею «узелок». Набулькаешь из бутыли молочки в синюю кружку, разрисованную роем золотистых пчёлок, умнёшь, подкрепишишься плюшкой, калачиком, потом сладишь на голову для прорхладцы из широченных листьев конского щавеля и почти совсем отцветшей, но всё ещё душистой медуницы «мировой» венок, нахлобучишь на косянку, глядишь, и снова дело заспорится, даже песню, выученную от бабули поневоле начнёшь под нос себе мурлыкать: «Ой, при лужке, лужке-е, лужке-е...»

Пока брали ягоду, отец, очень скоро терявший к ней интерес, а заодно и терпение, успевал обежать вдоль и поперёк

весь Плоский лесок (берёзовы-ый!) и с привеликим удовольствием наломать полнёхоньку плетушку зелёных да розовых сыроежек, ярко-жёлтых лисичек. Сыщет, бывало, без них уж вовсе не вернётся, и хоть с пяток-другой крепеньких, один в один, белых.

Мало того, обезоруживая маму, «в оправдание своего побега с ягодного поля брани», он притаскивал ей то перевитую травяным перевяслицем или длиннющими стеблями мышиного горошка охапку малиновых кипрейных султанчиков, то букетище крупных лесных ромашек.

«Умасленная» подношением, мама всё равно, улыбаясь, грозила ему в наказание: «Зимой варенье будешь есть из Таниной заманихи», прозрачно намекая на мою «зеленуху».

Но отец за просто так и сам не сдавался, и прикрывал меня. «Так я ж при торного на дух не переношу. Куда вкуснее кисло-сладкое», – подмаргивая мне, парировал он. И я, довольная и радостная, светилась от его поддержки. К тому же, как только мама скрывалась в травах, как по мановению волшебной палочки, откуда-то из-за пазухи его возникало с десяток пучков крупнющейся, зреющей клубники. Отец лукаво щурил глаза, прикладывал палец к губам: мол, помалкивай, смотри, не проговорись маме, и, опуская свой добытак в мой бидон, прикрывал его закудрявистой бахромой тут же сорванных цветов бледно-розовой хохлатки. Возвращаясь домой, мы загадочно переглядывались и подмигивали друг дружке, сохраняя от мамы свой «душистый» секрет.

В мамином же ведёрке, можно даже не заглядывать, заманиха отборная, ягодка к ягодке, даже есть жалко, только любоваться да картины с ней писать. И как у родимой хватало терпения собирать только по одной, самой лучшей, с кустика?

А я вот додумалась: мол, чего тут церемониться, луговую можно сдёргивать с веточки сразу по несколько ягодинок, горсточкой. Честно сказать, зачастую среди спелой в бидон по недогляду попадала и белобокая, а порой и вовсе зелень зеленью.

Но бабуля, старалась не замечать мою уловку, даже виду не показывала. Перебирая мой добытак, никогда, бывало, не пожурит. Видать, теплилась в ней «надёжа» на то, что со временем «лень сама из меня выдуится», и заманишка в моём бидоне станет куда ядрёней и спелей.

Мало ягодку взять, это дело хоть и не десятое, но и не самое наиглавнейшее, надо ещё, как говорила бабушка, «до ума довесть». Спелая заманиха – создание нежное, уважает заботливое с ней обращение. С ягодой время дорого, а иначе «поплыёт», не удержать. И потому, наморившись, не наморившись, в тот же вечер до позднего поздна приходилось с ней тетёшкаться, рассыпав на чистую тряпичку, «чтоб не сгорела», прямо на крылечном полу.

Но ничего, обходились. Спать не укладывались до тех пор, покуда не распределялась каждая ягодка по ранжиру: переспельные, самые сочные, душистые да лакомые пересыпались сахарным песком в большущих блестящих медных макитрах для варенья. Из года в год в нашем погребе обитало множество банок, баночек и банчищ этого замечательного лакомства из луговой клубники. В зимние холода с блинами-оладьями, с топлёным молоком или травяными чаями уплеталась эта вкуснятина за любо-дорого.

За «заманишний день» ладошки становились красные-красные, такие же и губы,

и язык. Ведь нет-нет да и не устоишь, подкинешь в рот самую приглянувшуюся.

Той ягодке, что потвёрже, место определялось в морозилке. Вдруг да невтерпеж захочется наперекор крещенской стужице чего-то совсем летнего. Вот когда сгодится сохранившая свой яркий аромат луговая сласть заманиха.

Немалую часть ягоды оставляли для сушки. На следующий день, не мешкая, отец поутру, как отойдёт роса, взбирался по лестнице на покатую крышу амбара, рассыпал заманиху тонким слоем на застланную старым покрывалом железную крышу. За день, как на жаровне, ягода доходила до готовности, бери да ссыпай в пошитые мамой на древней «зингерке» специально для всяческой сушки цветастые ситцевые мешочки.

За завтраком, зачерпнув из макитры пропитанные сахаром ягоды, заливали их в миске парным молоком.

С той поры прошло столько лет, что можно и со счёту сбиться, а вот вкус этого яства не спутать по сю пору ни с каким иным, вкус отрадного детства и семейного лада.

Ягодное пиршество на этом не заканчивалось. Весь длиннющий июльский день мама «мудрствовала» у плиты над вареньем, а я, чтобы отвести душу, вертелась около, дожинаясь, когда наконец-таки в тазах запенится, забулькает, когда, расхлюпавшись, примутся «убегать» розоватые, дышащие Плоской лощиной, ярым солнцем, безудержной июльской радостью пышные, воздушные пенки.

И напрасно страшала меня бабуля: «Татьяна, остыни, гляди, не налижись! Вот ей Богу к завтрему на щеках заманиха вызреет!»

# ПОД ИЛЬИН ДЕНЬ

Июль выдался адски жарким. Деревенские махнули рукой: жди теперь урожая, как с вербы яблок. Ни малейшего колыхания в побуревшей, скрюченной листве деревов, ни хотя бы лёгкого дуновения. За весь месяц небо, и день и ночь плятившее на хутор и его окрестности своё не моргающее око, видевшее все страдания земли, не сжалось, не проронило даже самой малой слезинки.

Роса не приносила спасения, казалось, закипала, с шипением выжигая даже низменные поймы по берегам обмелевшей Кромы. У неё, горячей, не хватало сил утолить жажду иссушенных, хилых покосов, или хотя бы освежить их.

Как ни молилась бабка Маня, обходя на рассвете пожни, как ни шептала, хоть и была она почитаема всяkim и каждым на пять деревень в округе, колос на полях так и не смог напиться в полную меру.

И вот на исходе месяца, под Ильин день, воздухи раскалились добела. Зной и томление настолько измаяли всё живое, что, чудилось: хутор вымер. Разыскав какие-то мало-мальски тенистые прибежища, попрятались птицы, осоловелые мухи, будто вовсе дохлые, очумело кружили на подоконниках крыльца и падали под ноги.

Еле-еле дотянув до заката, ошпаренное солнце ахнуло в пышущие жаром и духотой сумерки. И уже спустя всего каких-то четверть часа над хутором пала оглушительная темень. Луна, словно догадываясь о чём-то подступающем, жутком, предусмотрительно обошла хутор стороной.

Ни проблеска в вышине, ни единой звёздочки. Не объявилась даже Полярная, которая по своему обыкновению любила вскарабкаться на макушку самого высоченного хуторского тополя, что вымахал у Фролыча

за бакшой, и оттуда помогала мальчишкам пасти в Сухом логу табун хуторских коней. Нынче бы она, ой, как пригодилась, потому как подгулявший на крестинах внука дед Тишко вот уже полчаса, как безуспешно силился сыскать дорогу до своей, стоявшей по соседству, избы.

Бабе Мане не повезло отметить вместе с дедом на крестинах. Маявшаяся который день от давления – ныла каждая косточка – она окончательно слегла. Но старого всё ж таки выпроводила: мол, не дай Бог, сын разобидится.

Бабкино тело напрочь отказывалось её слушаться, рука с трудом поднималась ко лбу, совершенно обессиленная, пристроившись на топчане, поближе к Божничке, предчувствуя неладное, она всё перебирала и перебирала губами, уповая на Заступницу, молилась.

Когда дед, к великой своей неожиданности, добрался-таки до лавки в родимой горнице, баба Маня, успев потолковать со всеми Святыми разом и с каждым по отдельности, казалась не в себе – надо же! – «для пущей надёжи», вспомнив пррабкино «наущение», творила заговор:

*«Твердь земная, твердь Небесная,  
Отринь молнию и гром.  
Ангелы зла и Ангелы добра,  
Встаньте по разную сторону.  
Три имени Троицы  
И три несокрушимые силы Господа,  
Дайте силу заклинанию.  
Семь духов планет:  
Кассиэль, Захиэль, Самаэль, Анаэль,  
Рафаэль, Михаэль, Гавриэль!  
Север, юг, восток, запад,  
Печать Солнца и печать Луны!  
Разрушаю этим заклинанием поток воды,*

Виток ветра, укрощаю стихию  
И отнимаю её силу у природы.  
Знаю все заклинания семи дней,  
Данные Господом  
И все псалмы его.  
И через то сила воды в моей власти.  
Аминь!»

Закончив своё важное дело, баба Маня, покачав укоризненно в Тишкину сторону головой, сказала, как припечатала, деду всё, что о нём думалось ей на ту пору.

— Э-эх! Горюшко моё ты луковое! Во-все духом занизал! Смолоду держался, а теперь... Довольный, будто Жар-птицу захватил!... В твои ли лета выставлять себя на посмешище? — и, зная, что от деда теперь и слова клещами не вытянуть, неделю, как побитый щен, будеттише воды, ниже травы, нарочито строго сдвинув свои посеребрённые летами брови, озабочилась, — скотина-то на дворе, ай, нет? Вставайкась — непогодь надвигается, с минуты на минуту дождайся проливенного дожжа, — и смолкла, снова переведя взгляд на Божницу.

Тишка всегда верил своей бабке на слово. Когда б чего не предрекла, так оно наверняка и сбывалось, проверено сотню раз. От нескрываемой Маниной «сурьёзности», дед скорёхонько прочухался и в надежде на скорое возвращение, даже «не узду» бабке свет, — кинулся опрометью на двор, доглядеть что к чему.

Перво-наперво, зачуяв недобро, в мертвецкой тишине заволновались, зашумели над погребом вековые осокори. В гнёздах, разбросанных на их высоченных сучьях, перепугались, заорали заполошные грачи.

В кромешной темени рассмотреть за окнами хоть что-нибудь подслеповатой бабке не было никакой возможности. К тому же с некоторых пор Тиша приметил:

стала его «супружница» заметно туговата на ухо, точнее на оба. Но разве Маня нуждалась в слухе и зрении, когда всё что надо, слышала сердцем, видела очами своей мудрой души?

Она учゅяла, как за порогом покатилась волна за волной, всё крепче, всё яростнее. Деревья сгибались доземи, покуда в палисаднике не затрещала и не разломилась надвое престарелая рябина. Под её дородным стволом хрястнули крылечные перильца. Обрушенной веткой выдрало форточку и на половицы просыпались, задолдонили, заподпрыгивали незрелые рябиновые ягодины, будто только что нечаянно оборвалась с бабулиной шеи двухрядная нитка с её любимыми «антарками».

Следом за ними в горницу спрыгнул обезумевший от страха рыжемордый Василь Василич. Как бы ни пыталась подманить и прижалеть его сердобольная баба Маня, кот, не долго мешкая, и, зная наверняка, где в их хате самый безопасный угол, шнырканул прямой наводкой на печку.

И во время! Потому что через секунду, ярясь и ликуя, в бешеном порыве ураганного ветера распахнул настежь двери и, кандибобером куролеся по горнице, загасил лампадку, посыпал с полок чашки-плошки, затрапал занавесками, чёртом ввился в поддувало, и, выметаясь, напоследок так завыл и засвистел в трубе, что не на шутку перетрухнувший Василь Василич не стерпел жуткого одиночества и опрометью рванул к бабе Мане на топчан.

Где-то по соседским дворам звенели разбитые стёкла, хлопало и бухало, скрежетало и крушилось. В саду невыносимо стонали яблони, градом бились, тужали о шиферную крышу амбара содранные ураганным ветрищей «наливы» и «медовки».

— И куда он только запропал? Канул и никому ни гугу, нагородит потом побы-

вальшины с три короба, начнёт антимонии разводить... храни его Пресветлая, — серчая, а больше страшась за деда, балакала Маня в кромешной темноте с забравшимся под одеяло в её ногах Василь Василичем.

И вдруг — у Мани даже сердце захолынуло — иссиня-белым, пронзительным светом пыхнула, растворилась ночная темь. На долю секунды. Точь-в-точь, как неделю назад, войдя в чулан, допялась бабка до выключателя, а лампочка щёлк, и вдрывг, на мелкие осколочки. Правда, благодаря её мгновенному свету Маня потом уже нашла сподобилась сдёрнуть с гвоздя косицу «стригуновского», прихватить для Тишкы кубан вчерашней кислушки.

Этой мгновенной зловеще-синюшной вспышкой озарилось всё старицковское подворье. Жуковыми очертаниями проявились клети и сараюшки. Диким, «незнёмы» зверем, уронив по ветру обычно вздыбленные при безделье оглобли-рога, таращилась, вытолкнутая бурей на серёдку двора, трухлявая дедова телега. А бережно сложенного под навесом, с трудом отвоёванного у засухи стожка новолетнего сенца и вовсе не видать — «наушшал» размётан от калитки до порушенного крыльца.

Не успела Маня очахнуть от этой страшной вспышки, как в ещё жутче сгустившейся темени на левом берегу пруда, над самыми коровниками так бабахнуло, что на смятые, полёглые бархатцы палисадника из подгнивших рам бабкиной хаты посыпались вконец расшатанные стёкла.

И тут истрепавшаяся ветрищем небесная ряднина не устояла, прорвалась прямо над хутором! Казалось, на очумевшие от

непогоды избы, на разнесённые в щепки леса, на полёглые поля обрушилось, хлынуло нещадными потоками само небо.

Но даже сквозь всё нарастающий шум Маня смогла расслышать, а может, опять почуята, что за прудом полыхал скотный двор. Обезумев, истошно ревела скотина, вырываясь наружу, крушила летние навесы и загороди, слышала она и как, надрываясь, матюганились, орали друг на дружку мужики: «Петро-о! Воротину-то, воротину ширше распахни! Ядрёна вошь! Что ж ты молчишь да гляделками хлопаешь! Ай, с перепугу языка лишился? Пошишевеливай! Залучай! Не пущай к торфяным ямам! Захрястнут, трактором не вытянуть! Тамотка и окочурятся!»

Уже по свету, когда в тяжёлых муках народился Ильин день, ураган перешёл в обычный летний дождь, и Василь Василич, хоть и не уважал он эту мокрену, но, как воспитанный кот, спровадился излить свою печаль до ветру. На истерзанной заре объявился, наконец-таки, — в сапогах жмыхала водища — Тишка.

Вошёл, покрестился на Красный угол. Пододвинув табуретку поближе к Мане, измочаленный, и, как обычно бывало после тяжкого, но важного дела, довольный, доложил: «Слава Богу! Кажись, всех собрали. Правда, одна-таки подвихнула ногу, да ещё пару в подпалинах... Но ничего... Там сейчас Кузьмич. Он витинар толковый... А ты-то как тут, Манечка? Ты гляди, держись! Чтоб к зиме у меня, как молодая молодка была! Всем помогаешь, а у самой — то понос, то золотуха!.. К кому ж на Бабы Взбрыйцы соседи с гостинцами понайдут?.. Опять, небось пряников узорчатых понатащут — неподъесть».

# ФРОЛОВА РАКИТА

Правда ли, нет ли, только бабушка Наталья, отцова мать, сказывала – а как ей не поверить? – будто эту ракиту на середине Мишкиной горы, вблизи хуторского родника, посадил ещё году эдак в тридцать третьем мой дед Фрол. А коли так, значит, ей уже не много не мало – под сотню годочек!

А дело случилось так... Началось всё с того... Приехал в тот год дед мой с зарубок, с Балхашстроя, к Пасхе на побывку. И вздумалось ему, видно, кроме всего прочего, обустроить заилившийся родничок. Почистил, углубил он его сердцевину, обложил невысоким дубовым срубом. А чтобы легче было подступиться к роднику в любую непогоду, нарубил он где-то ракитовых кольев и, оставив небольшой, чтобы можно было развернуться с коромыслом, вход, воткнул те черенки в плотную воронку ключа. Как говорится, в тесноте, да не в обиде, ракитник тот, конечно, у воды принялся мигом, зазеленел, заветвился. Но всё-то высадкам тем вольного духу не доставало, всё-то они застили своими кронами друг дружке Божий свет. Так и мыкались, бедные, длинноющие, тощие, год за годом.

А вот один из ракитовых колышков дед то ли по случайности, перекуривая, воткнул на полгоры, то ли нарочно, с каким дальним умыслом. Не берусь сказать, как там было всё на самом деле.

Знаю только, что спустя годы вымахало у тропинки на спуске к роднику из того хлипенького череночка дерево в три обхвата. Жизнь не одного поколения хуторян просутилась на виду у этой приметной ракитки.

Идёт мужик за водой, не преминет подней остановиться. Свернёт не спеша ци-

гарку или выбьет из пачки «беломорину», оглядится, что, где да как. Не его ли табун прямиком с омутка спровадился в Меркулихин сад? Не Витька ли, его сынок, дерёт на бахче у Колдучихи огуречные зелепушки?

Подымается на гору баба, сбросит с плеча плетушку, битком набитую переполосканым бельём, притулится в густой тени передохнуть, поостыть после жаркой колотьбы на омутке, тут же и пральник меж ракитовых веток в своём потайном местечке до следующей постиушки припрятет.

Для ребятни же под сенью этой ракитки вообще был двор родной. С перекинутыми через выгнутый сук ременными качелями, с вырытыми в глинистых боках Мишкиной горы ходами-лазами, с птичьими норками, в которых кому ж не хотелось нащупать пару-тройку дробненьких стрижинных яичек?

Куда бы кто не собрался идти, сбор назначали у этой ракитки. Помнится, бывало, возвращаемся с бабушкой из Гороней или Закамней, переберёмся через Жёлтый пренепременно по камушкам, обустроимся в тенёчке, рассортируем грибы-цветы-ягоды, заодно и передохнём, и – на гору, до хаты.

Справа от дерева – большой глинистый обрыв. Для всяческих хозяйственных нужд по налаженному из пяти-шести сплочённых брёвен мосту, а то и запросто – вброд, приезжали к нему за глиной мужики из окрестных деревень. Пока работали, наполняя глиной забранную тёсом телегу, лошадку определяли опять же в тенёк под раскидистую ракитовую крону. Под ней, громадной, не страшны ни палящий зной, ни проливенный ливень. А наморившись,

тут же рассаживались перекусить да передремнуть.

Оно, конечно, дело прошлое, но... вот, поди ж ты, не забылось! Как запамятовать-то? Считай, всё детство моё волчком прокрутилось вокруг да около этой дедовой ракитки. Помнила она, думается мне, и мою юность, и первую, пронзительную любовь. Как дожидалась я впервые, как казалось мне тогда, по уши влюблённая, парня из соседнего села, как до последних петухов не могли мы с ним распрощаться, как, закутавшись в пуховую шаль, выходила на росную гору покликать меня домой так и не научившаяся засыпать до моего возвращения мама.

До-олго служила хутору ракитка деда Фрола. Со временем сами по себе притопали в её тенёчек из лесу грибы-подтопольники, расположились не абы как, необорным табором. Опять деревенским прибыток.

Но у всего в этом мире есть начало и есть неминучий конец. Деревья – не исключение, к тому же, ракитка – не такой долгожитель, как, к примеру, дуб. В гнилушку превратился её ствол, зимние ветродуи развалили её во все стороны на множество

частей, до земи склонив ветви на взгорье.

«Ну вот, – проходя мимо, думали все, – подошёл смертный час Фроловой ракитке. Спасиочки ей, как не вспомнить родную добром?»

И решили мужики: как только пообсохнет подгорье, стуртоваться миром и распилить порушенную ракитку: сучья – на дрова, а гнилушки – они тоже сгодятся – пчеловоды разберут их на пасеки для своих дымарей. Договориться-то договорились, да за хлопотами разговор тот закатился под стол и подзабылся.

Справили по Фроловой раките поминки, оплакали. Но ранней весной, помнится, ещё и не весь снег-то сошёл, ещё по оврагам да лощинам шумели ручьи, шла я как-то на родник. Слыши: что за диво? Гул какой-то стоит. Даже ведёрки с коромыслом скинула. Пригляделась, а разваленные в стороны ракитовые сучья не только озеленились, к моей великой радости – зацвели! Видать, прижились, пустили корни молодые ракитовые сучки. От ракитки-матери народилась целая ракитовая роща. И снуют, снуют, и радуются её цвету вездесущие пчёлы!

## НА СЕНОВАЛЕ

Белым наливом скатывается за Васютинским амбаром в седые лопухи переспелая луна. А где-то там, над ольховниками Коровьего болота, ей на смену уже вызревает, вот-вот раскроется – только не проморгай! – огненный бутон чудодивного золотистого цветка. Вёдро. Не тянет ни дождём, ни сыростью.

В парном июльском ветерке ситцевая в голубенький огурчик занавеска чуть колышется. Ушлый комаришка всё-таки сыскал лазейку, проскользнул к Митьке под полог, обустроенный мамкой ещё под Троицын

день, и вот теперь, спозаранку, когда проявляются самые невероятные видения, самые желанные сны, этот неотвязный паршивец наинаглейшим образом докучает и докучает парнишке гнусавым зундением, «ну, прям-таки утерпежу от кропивца нету».

С бакши слышится равномерный хруст. Это дедушка, подобув на бурки галоши, бродит по росным грядкам, хряпает, набивает для подсвинка Ерошке хоботную пле-тушку молодого, переполненного соком, ослизлого свекольника. Запах нечаянно

растоптанного огуречника смешанного с ядрёным укропным духом прокрадывается сквозь щёлки сеновала, вползает в Митюшкины полуосыпавшиеся сны.

«Поспиши тут, как же!», — пыжится мальчишка, накрывает голову подушкой, пытаясь зацепиться хоть за краешек ускользающей ночи. Но опять незадача — изодранные вчера в бабки Зининых крыжовниках руки так чешутся, так чешутся — мочи нет. С вечера завернули с дружком Тимкой справиться, не подошла ли на углу её захолустного сада «дулька». Мальчишки сквозь этот сад, как сквозь свойский, заужмурясь, пройдут. Груша пока ещё каляна-а-я! А крыжовник — ничего, в самый раз, только потемнуй уж дюже лих. И цыпки на пятках, будь они неладны, — чешутся заодно с зарапинами на пальцах. Хоть мажь их бабуля гусиным жиром, хоть не мажь, — Бог даст, может, хоть к Покрову отпадут.

— Хррр! Хррр! Хррр! — скрипит сарайная воротина.

— Вот так каждое утро! И какого рожна ей не спится? Сколько раз обещал себе накапать в петли машинного масла, да где тут! Опять забыл! Теперь вот слушай её песни на свою шею, — ерошит себе волосы, бубнит невыспавшийся Митька.

— Ммм! — Глафира обмахивается хвостом, не даётся доить.

— Ай, ты нынче белены объелась? — доносятся до Митьки мамкины строгие-настороже укоры, а потом ласковые-преласковые причитания, — опять подойник наподдала, — жалобится она подошедшему Лукичу, своему мужу, Митькиному отчиму, — витинару что ли показать, может, с вымям что приключилося, вишь как бьётся?

Тянет Лукичовым «беломором», слышно, как он, покашливая, спровоживается под сарайку сготавливаться на сенокос.

Вообще-то мужик он ничего. И рыбак-

лить Митьку научил, и велик с получки обещался.

— Как папка сгиб в Чечне, мамка совсем было разумом помутилась, — припомнилось Митьке, — кто знает, как бы сложилось дальше, если б не этот вдовий Лукич. Мамка в нём прям-таки души не чает... Да и меня он не забирает... Небось сживёмся!

— Вжик-повжик! Вжик-повжик!

— Ишь дедкины пчёлы расчапали под Кулигой — греча зацвела, и ну с неё, уже с неделю как, мимо сеновала таскать к себе в ульюшки взяток. К Сергову дню, глядишь, дедуня и медогонку из чулана выкатит.

Пчёлы всё жукают и жукают. С полу-дрёму Мите уж и не разобрать: то ли они, заботные, взад-вперёд, носятся, то ли мурчит бабулина маслобойка.

— Динь-динь-тирли-динь! — бойко заплескалось из-под сарая — Лукич правит косы.

Ну, теперь уж точно рассыпался Митькин сон. Босый, на плече мятым тряпицей клетчатая рубаха, он шнырко спускается с сеновала по шаткой лестнице на почти подсохшие подорожники двора. Чтобы окончательно очухаться от душной июльской ночи из притулившейся у крыльца дождевой бочки Митя брызгает на ходу пару пригоршень утренней прохладцы на лицо, на голую грудь. И, взбодрясь, влетает в кухню.

Вернувшаяся из курятника бабуля — в подоле фартука с пяток яиц — жалобится ему на рябую курицу: мол, всё никак не угнездится «нескладёха», в который раз подкладень раздавила. Отсерчав, старушка ставит перед внуком приберегавшуюся в сутреве, на загнетке, тарелку с ещё дымящимися блинами, пододвигает миску со сметаной и снова — прямиком к печке. Митя — один румяненький блямс в сметану и скорее — в рот. Остальные, с десяток,

закатывает в трубочку, сушит тёпленькие за пазуху. Бабуля ещё настрыпает – в плошке эвон сколько теста!

– Э-эх, кабы шапка-невидимка, пролизнуд бы мимо бабули тихонечко!

Парнишка чмокает старушку на бегу, пока та не одумалась, и исчезает за дверью, прежде чем услышать надоедный («для хороших мальчиков») «молебен».

– Обедать-то, юла, отышишься, пирог твой любимый с карасями затеяла, а то избегался, всё в сухомятку, кой на чём. Ишь ты, ужаленный! – выглядывает из растворённого окна бабулино смуглое с белесыми лучиками у краешка глаз лицо. Добрейшая старушка грозит внучонку блестящим от масла пальцем.

– Гоп-ля! – прихватив футбольный мячик, Митя спровоживает с горы к Филькину плёсу гомонливый табун уже подросших, оперившихся гусей. Верховодит ими здоровенный серый вожак, шишконосый Пугач,

задира и буян, каких свет не видывал. Всё норовит эдакий расканалья супротив Мити зааartaчиться.

Неслухи, оставив на полгоре своего хозяина, расперивают крылья, мягко планируют над поросшей анисами стёжкой, над куртинами фиолетовых шалфеев и золотистых болиголовов, будоража шёлковистую водную гладь, плавно оседают на жёлтый сыпучий песок плёса, на противоположный, левый, низменный берег.

Сверкнув белыми, один к одному, зубами, мальчишка, улыбается бойкими, приветливыми глазами, футболит в подгорье мяч. И, как заправская птица, расставив в стороны руки-крылья, срывается следом, летит за своими подопечными.

Золотистое – аж глазам жарко! – солнышко, словно смазанная яичным желтком, поджаристая бабулина лепёшка, катится вдогонку за Митеем.

Впереди большущий летний день.

## ГНЕЗДИЛОВО

Кособокие, поседевшие, напряжённо заглядывают они чёрными, замогильными глазницами окон в самую душу редкого путника. Потерянно молчат.

И только ветер, так и не поверивший в их усыпение, нет-нет да приблудится на знакомые подворья. Поскрипеть растерявшими зубья калитками, похлопать полуусгнившими ставнями, погромыхать пустыми ведёрками, приструнить обжившееся на порушенных крышах вороньё.

Ни дымов над похорившимися печными трубами, ни огоньков в быстро надвигающихся сентябрьских сумерках. Лишь из поросших в человечий рост собачником да крапивой когда-то богатых «бабушкиной антоновкой» гнездиловских садов горько

потягивает приторной прелью, уксусной оскоминой перезрелой дички, завалившейся в поникшие от нечаянно-раннего заморозка чертополошины.

Из-под проваленных избяных половиц выползает сырой и зябкий дух, обволакивает плесенью уже прозеленившиеся стены, напрочь запамятовавшие запах масленничных блинов, вкус крещенского гусиного холодца, ароматы щей из кислой бочковой капусты или лугового щавеля.

И ветер скулит, скулит... словно гложет голую кость изголодавшаяся псина. Да-а... Как у нас говорят: беда, которую не отшептать.

А ведь века обживали наши пращуры эту землю: «гнездились», выкорчевывая

леса под пожни, поближе к воде, да чтоб рядашком, под боком, зверь водился, да чтоб грибы—ягоды родились. Сколько по России заложили деды наши деревень, окрестив их просто и понятливо — «Гнездилово»? Не счесть.

А сколько осталось? По пальцам перечтёшь... Сплошной разор... По правде говоря, не весело русским глазам... Вот тот-то и оно!

И чем прогневали Господа? Не докричаться, не достучаться до небес... И ни души на десятки вёрст в округе...

Порушены отчие гнёзда, и что самое страшное — с земли нашей кровной стирается наша родовая память.

Деревушка Гнездилово стоит на двух пригорках, в низине меж которыми, проис текая сразу из нескольких родников, скользит безымянный ручей. Бывало, по берегам его ярко-зелёная, будто новёхонький кусок миткалю, ширилась большая поскотина. Нынче же и ручья-то не разглядеть, и луговины не распознать. Лозняк да вербач, каких ещё белый свет не родил, наглоухо заполонили подгорье, ни стёжки, ни тропиночки. С одной стороны заброшенной деревушки на другую задумаешь — не пройдёшь, не продерёшься.

И только в палисадах всё ещё не сдаются забвению до самых холодов мальвы-самосевки. Горят, полыхают негасимым ласковым светом, как бывало в добрые времена сияли прикрылечные фонари этой большой среднерусской деревни.

Огородов и бахчей теперь уж и вовек не сыскать. На их месте — дикое поле. На нём — лес лесом, как водится на всех пустырях, — осот да полынь, лебеда да татарник.

И что особо ранит человека, выросшего на широкой деревенской воле, что примечательно — ни одного голубя, ни одной ласточки, пройди хоть из конца в конец

обе длиннющие улицы, не обнаружишь. Только кракает, кракает, словно на погосте, перелётывая от усадьбы к усадьбе прожорливое воронье, то отрясая последние яблоки в задичальных садах, то роняя с рябин у накренившихся ворот перезрелые кисти.

А бывало-то!.. Не сыскать и двора в Гнездилово, где бы не держали голубятню. Да каких голубей!..

А ласточки... Что ж ласточки?.. Птички эти испокон веку с человеком в дружбе состояли и жильё своё к людскому жилью прilепливали. Всё, бывало, вьются хлопотуньи, носятся над омутком...

Видать, весело им было слушать, как залихватски колотят бабы пральниками на камушках расшитые васильками да колосьями рушники, как звенят в малинниках разливистыми колокольцами детские голоса, как, торопясь до дождя в лога за поспевшим сеном, тарарайкают по мозолистому просёлку одна за другой мужицкие подводы.

Не натянуты на подворьях верёвки, не полощется на них дышащее свежестью и влагой детское бельишко, обрезаны провода, порушились телеграфные столбы, измельчали малинники, перемололись в труху все стожки и копёшки у хозяйствских амбаров.

На западе, за Сырым ложком, меркнут последние, скудные, краски зари. И только на самом краю, на выезде из Гнездилово, мигает, ещё теплится над погасшей Кромой огонёк. Это Митрофаныч хватается за последнюю соломинку с родной крыши. Хоть обнищал, как говорится, ни иголки с ёлки, ни иконы помолиться, ни ножа, чем зарезаться — а поди ж ты! — крутится, крутится всё ещё его подворье, будто какая неподдающаяся никаким напастям волшебная самопрялка. Ну, так безрогая корова и шишкой бодается.

«Уздул» вот свою керосинку, сумерни-  
чает... Для себя-то он давно всё обрешил,  
да хоть своими, хоть чужими глазами по-  
гляды и обдумывать-то особо нечего... гик-  
ни, птицей обернуться сноровись, и то от-  
сюда не улетишь.

Вот и сейчас забрался старый на пола-  
ти, клюёт носом, а всё балакает, балакает  
по сотовому с родной душой, с осевшим в  
Питере сыном.

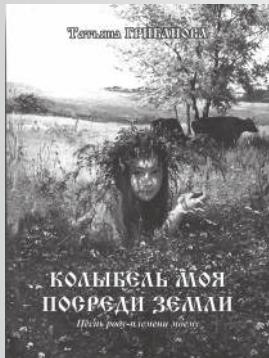
– Зазря не переживай по мне, – перека-  
тывает желваки стариk, – не слухай, об чём я  
тута раскудахтался... картохи прибрал... све-  
клы цельный подпол. Опять же груздочеков  
промышлил, трёхведерный бочонок в погреб  
закатил. Ай, не еда?.. Ты к Пасхе-то на гнез-  
до родимое прибудешь... ай нет? Надо бы  
оградку на мамкиной могилке подправить...

Храни тебя Господь, стариk!



## ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА!

**Татьяна Грибанова. Колыбель моя посреди земли (Песнь роду-племени моему).** Издание второе, ис-  
правленное. - Орёл: ПФ «Картуш», 2017. - 404 с.



Продолжая повествование об Орловской деревне, в новую книгу «Колыбель моя посреди земли» Татьяна Грибанова поместила лирические очерки и эссе о своей малой родине. С пристальным вниманием, не скрывая сердечной привязанности к земле, писатель вглядывается в судьбы сельских жителей, своих земляков с времён древних вятичей и до наших дней, прослеживает историю русского крестьянства на примере своих родичей.

Татьяна Ивановна, оставаясь и в прозе поэтом, тепло и лирично ведёт повествование ярким, самобытным и сочным языком.

Главы этой книги публиковались во многих литературных журналах России. Книга «Колыбель моя посреди земли» получила первую премию Орловского областного Совета народных депутатов на областном конкурсе «Книга Года литературы» (2015), отмечена дипломом Всероссийской литературной премии «Щит и меч Отечества» (2016).